

**Т**

ропа стала спускаться к болоту, и на холме за припудренными снегом деревьями показались первые свелебинские избы. Болотце хорошо уже заледенело, но для верности мы перешли его по узким деревянным мосткам. Морозные доски звенели в такт нашим шагам.

И вот уже на подходе к деревне — на финишной, можно сказать, прямой — тонкий кожаный ремешок выскользнул вдруг из похмельных пальцев Толи Медведева, случайного моего помощника, и коробка с телевизором обвалилась с его плеча прямо к моим ногам.

Я остановился и коротко выругался. А что еще я мог сказать?

— Николаич... Николаич... — разводя руками, закружился вокруг меня Толя. — Может, оно и ничего. Лампы-то вроде не разбились.

— Какие, на хрен, лампы! — с отчаяньем и усталостью воскликнул я. — Там нет ламп! Он транзисторный!

После всей этой бесконечной дороги — сначала ночным поездом от Ленинграда, потом утренним автобусом от Локни и теперь вот пешком от Иванцева — у меня просто не было сил по-настоящему разозлиться на него. Я только переменял поло-

жение рюкзака на спине и подхватил в руку упавшую коробку с телевизором. Черт бы его побрал, вот уж действительно — медведь.

У самых изб наши пути разошлись: я пошел напрямки к отцу, а Толя, еще раз горестно взмахнув руками, свернул к Володе, у которого надеялся опохмелиться.

Телевизор, как и следовало ожидать, заломался — пестрые диагональные полосы бежали по экрану, и все мои попытки обнаружить неисправность ни к чему не привели. Это надо ж было столько уродоваться, тащиться зимой за триста с лишком верст, и все для того, чтобы у самой деревни какой-то Толя Медведев угробил все дело. Называется: сделал папе новогодний подарок...

— Закрывай, — мрачно сказал отец и махнул рукой.

Я привернул заднюю крышку и опустил телевизор обратно в коробку.

— И кому ты доверился?! Пьянице этому! Лучше бы ты ему рюкзак отдал...

— Да он сам у меня в Бошареве телевизор из рук вырвал: давай, помогу.

— Помог...

Это злосчастное падение телевизора сразу же придало всей моей поездке какой-то мрачный, вязкий и уже заранее похмельный привкус. Только после того как мы вскрыли с отцом и почали вторую банку дешевой голландской водки, усталость и раздражение стали понемногу отпускать меня.

Весть о моем приезде между тем мало-помалу начала распространяться по деревне, и к батиной избе потянулась немногочисленная, но активная часть мужского населения.

Первым пришел наш сосед Денис, молодой еще парень, недавно комиссованный из армии. Они с матерью приехали из Казахстана — «эмигранты ближнего зарубежья» — и теперь жили в избе, доставшейся Денису от деда... Чуть позже из села прибежал Сергеич, скорый на ногу.

— Васильич, Васильич, ты мне много не наливай — мне еще к Великонову идти надо...

Ближе к вечеру, а вечер в декабре накатывает уже с половины дня, пришел и Волода Волков. Румяный после бани, с полотенцем на шее вместо шарфа, он привычным движением выхватил из-под ремня бутылку водки и поставил ее на стол.

— А мне дядька говорит: Борис приехал... Ну как, телевизор работает?

— Не видишь разве: сидим, телевизор смотрим, — желчно усмехнулся отец.

— Накрылся телевизор, — пояснил я.

— А что так? Дядька Толька говорит, что он и стукнулся-то всего маленько.

— Ему хватило, — сказал отец.

— Да ты не стой, садись, — сказал я и подтащил к столу еще одну скамейку.

— Да я только на пять минуточек, — заволновался Володя. — Моя Геннадиевна говорит: через пять минут за тобой приду.

— Садись, садись, — сказал отец. — Помянем телевизор.

Поутру у меня болела голова, но не столько от выпитой водки, сколько от печного угара. Батя экономит дрова и закрывает трубу раньше, чем в печи прогорят все угли. Два раза они так с мамой угорали, что до тошноты. Но нет, не идет урок впрок. И спорить с ним бесполезно. Мама,

когда еще была быта, так постоянно с ним спорила — по любому пустяку. А я не спорю — знаю, что без толку.

Батя с неприятной усмешкой смотрит, как я развожу кипятком его пересоленный суп, а потом демонстративно тянется за солью.

— А по мне, так и мало еще, — говорит он и бросает щепоть соли себе в тарелку.

А мне совершенно наплевать на его демонстрации — не собираюсь я, потакая ему, гробить свой желудок.

— Желудок надо закалять, — назидательно говорит отец. — Вот у меня никогда изжоги не бывает.

Кому бы говорил — только не мне. Будто бы я не помню, как он в городе вскакивал с дивана и бежал на кухню глотать соду. От него и мне эта изжога по наследству передалась...

Я бреду по утреннему холодку к ближайшему лесу, топчу широкими валенками сухой мелкий снежок. Пересекаю по краю поля узкий лисий след, разглядываю петлистые побежки полевков. Редко-редко когда свистнет из лесу какая птица... И попутал же меня бес связаться с этим Толей Медведем, думаю я, и, развернувшись, шагаю обратно к деревне.

У Денисовой избы распахнуты обе двери, а сам он сидит на коньке крыши и ковыряется в печной трубе. Мой отец идет мимо с ведрами, останавливается возле крыльца и кричит Денису снизу:

— Что, улицу протапливаешь?!

— Да вот, дядь Коль, решетку сажей забило. Затопил печь, а весь дым — в избу...

— Э-эх... — горестно машет рукой отец. Это означает: ни хрена-то вы, молодые, не можете. Вам бы только девок по темным углам пугать...

Скучен и однообразен зимний деревенский быт. Тем более, когда нет телевизора. Старенький «Альпинист» шипит на подоконнике, это единственный живой звук в избе. Мы лежим с батей, каждый на своем топчане, и молчим. Батя читает газету, а я просто гляжу в потолок и думаю, не выпить ли мне еще одну таблетку анальгина...

Потом мы идем с ним в Конново. Там у бати появилась подружка — живая такая и энергичная бабуся. Она поит нас молоком и угощает румяными яблочными пирожками. Изба у нее попросторней батиной, да и почище. У печи висят и сохнут линялые батины рубахи...

Обратно возвращаемся не через Сатанино, как шли, а через какие-то кусты и овраги. Мы продираемся сквозь заснеженные заросли, распугивая мелких птиц.

— Ты прямо как Дерсу Узала, — говорю я.

— А я тут все короткие дороги знаю, — отвечает отец.

И это — верно. Как верно и то, что не любит он лишний раз попадаться на глаза сатанинским бабам и мужикам, колким на язык.

И снова наступает вечер, но водки уже нет, и поэтому мы пьем кофе. Вообще-то я не пью кофе, тем более на ночь, но здесь приходится приспособиться к батиным порядкам.

А уже завтра мне возвращаться обратно в Питер. И снова везти телевизор на починку. От одной этой мысли головная боль, которая отпустила было после прогулки в Конново, опять начинает шевелиться в башке.

Все-таки нет в жизни линейных сюжетов. Нет ряда событий, которые неумолимо подводят героя к заведомой цели — все это выдумки писателей. В реальной жизни все события толкуются по кругу: изо дня в день, из

месяца в месяц. Набор событий ограничен и перебирание их равносильно перебиранию четок. Давно ли — месяца еще не прошло — как уезжал отсюда с телевизором. Так же укутывал его в одеяло, так же упихивал с одеялом в коробку... Ощущение такое, что будто я навечно теперь прикован к этому телевизору, до конца дней своих, как каторжник к чугунному ядру. Так и буду починять его из раза в раз, пока сам не завалюсь где-нибудь...

Наступает еще один новый день, ничем почти не отличимый от старого. Снова с утра — головная боль и жирная пересоленная пища. Снова неизбежная изжога и ритуальный стакан с содой.

Выхожу проветриться — бреду через деревню к Володе Волкову.

Когда-то в его избе был магазин, но торговля у Володи в новые безденежные времена шла плохо, и теперь от магазина остался только прилавок да полки по стенам. На этих ветхих полках собрались предметы более подходящие для музея, нежели для продажи: старинные пачки папирос «Север», ржавый двухплечевой безмен, самодельное панно «Корабль» и бутылочки с таинственным спиртовым напитком «Троя» — «Бойтесь данайцев, дары приносящих!..»

Еще что выбивало Володькину избу из традиционного интерьера — это шкаф с книгами и письменный стол с портативной пишущей машинкой на нем. Присутствие пишущей машинки в столь глухой дыре — явление вполне чудесное, хотя и типично русское, опровергающее косность и приземленность провинциального бытия.

Здесь, у Володи, в его музейно-кабинетной обстановке, я чувствую себя почти так же легко, как и у себя дома в Питере. Привычное содружество вещей создает благоприятную ауру.

Володя обещает подвезти нас с батькой до Иванцева на санях. Это очень кстати...

Но почему-то все снова идет наперекосяк, суетно и бестолково. Едва выезжаем на санях за деревню, как батька спохватывается: забыли рюкзак с моими городскими ботинками — сам-то я сижу на соломе в валенках. Нужно возвращаться за ботинками. Отец психует, соскакивает на дорогу и бежит назад по санному следу, но куда там — возраст уже не тот, да и отъехали далеко — с километр, считай. Я тоже слезаю с саней, а Володя разворачивает Мальчика и, аккуратно постегивая коня, спешит вслед за отцом. Я вижу, как тот запрыгивает в сани и все они трое — и Володя, и отец, и немолодой уже Мальчик — скрываются за поворотом дороги.

Меня сани нагоняют уже за мостом через ручей. Отец, чтобы сократить путь и наверстать упущенное время, а может, по всегдашней своей привычке обходить человечье жилье, ведет нас в обход Бошарева какими-то неезженными путями. Конь с трудом продирается по мелкому снегу через сухую траву...

Потом мы долго ждем автобуса на остановке. Ботинки, из-за которых возвращались, совсем промерзли, пока лежали в рюкзаке, и теперь мне никак их не разогреть. Я бегаю взад-вперед по заснеженному шоссе, топая ногами, пытаюсь разогнать кровь, а заодно и вытрясти противную тяжесть из головы. Батька и Володя, посмеиваясь, смотрят на мои упражнения...

Но вот, наконец, я вваливаюсь в темный и холодный ПАЗик и устра-

иваюсь, с рюкзаком и телевизором, на заднем сиденье. Пока водитель долго и аккуратно вырезает мне проездной билет сложной конфигурации, пока немногие пассажиры тихо переговариваются между собой, чувство какого-то горького удовлетворения поднимается во мне. Автобус трогается, я машу в потемневшее окно нерезким фигурам отца и Володи Волкова, и вот меня уже как бы и нет в этом отъезжающем пейзаже. Воля моя покойна, а все душевные и телесные мышцы расслабляются; вот оно, седативное воздействие дорожного одиночества.

Темно в автобусе, темно за окном, да и в душе довольно сумеречно, но это спокойные сумерки, в них нет тревоги. Автобус трясет и качает на выбоинах и если бы не собачий холод в салоне, я бы и вздремнул.

В Миритиницах автобус заполняется новыми пассажирами, в основном это рыбаки. В тяжелых сырых полушубках, гремя железными ящиками и ледобурами, они влезают в салон, и в автобусе совсем не остается свободного места.

В Миритиницах мы стоим долго — кого-то ждем. Постепенно в холодном автобусе разгорается огонек разговора. Я невольно прислушиваюсь к говорящим: оказывается, где-то здесь, совсем рядом с остановкой, — церковь. Сегодня утром в ней отпевали двух жарковских мужиков...

— Молодые ребята совсем, — звучит простуженный мужской голос. — Одному сорок два года, а другому и тридцати пяти не было. Два брата.

— Вот Ленушке-то горе, — вздыхает какая-то баба. — В позапрошлом году дочка погибла, а теперь вот сына оба.

— Да сами виноваты, — вступает в разговор третий голос. — Еще лед на озерах не встал, а они уж поперлись.

В темноте мне не разглядеть лица говорящих.

— Пьяные были? — возникает из темноты чей-то вопрос.

— Ну, выпимши, конечно. Но не особенно. Один из них еще с рюкзаком шел, десять килограммов сахару нес...

— А я слышал, вроде — двадцать?

— Не-ет, десять. Точно... Каныгин Александр Иванович отговаривал их еще: не ходите, говорит, озером, идите через Свинухово.

— А и правда, шли бы через Свинухово. Там дорога удобная.

— Так пьяные же, поди, уговори их. Витька-то, что с ними был, поумнее оказался — вернулся. Их же ведь сначала трое было. Он, как лед под ногами затрещал, так назад в Жарки поворотил.

— И правильно сделал.

— Вернулся и никому ничего не сказал, — с укором произнесла баба.

— А что ему говорить? Он и сам не знал, что они провалились. Жарковское-то озеро они нормально прошли.

— Да, на Жарковском лед крепче...

— Они ведь на Ваулинском провалились. Ваулинское озеро глубокое, там полыньи долго стоят...

— А нашли их когда?

— Да одного сразу выловили. Рыбаки же и нашли. Тот, первый, он сразу всплыл. Его подо льдом хорошо видно было — снегу еще не успело нанести. А второго только вчера утром баграми зацепили...

— Долго искали?

— Да не особенно... Мужики с Миритиниц пришли, жердей нарубили, набили гвоздей — быстро нашли...

Я уже слышал эту историю. Не помню уже кто, то ли Володя расска-

зывает, то ли Сергеич. Горькая и скрушная правда жизни. Сколько уже таких историй я слышал: там — кто-то утонул, там — в избе угорел, там — застрелился... Как будто потерял народ чувство самосохранения, заглушил водкой природный свой инстинкт к жизни...

Водитель дождался-таки нужного ему пассажира, и автобус тронулся дальше в темноту зимнего вечера. Я сидел с коробкой телевизора на коленях на заднем сиденье, словно на театральной галерке, случайный соглядатай чужого спектакля жизни. Некая незримая преграда пролегла между этой жизнью и мной, но и, тем не менее, я ощущал какую-то странную причастность к ней — сложное двойственное чувство. Слава богу, никто не в силах был залезть внутрь меня и подслушать неясные, колеблющиеся мои мысли...

Только в половине восьмого вечера автобус дополз до Локни и вытряхнул немногих своих оставшихся пассажиров напротив железнодорожного вокзальчика.

До поезда еще оставалось время, и мое продрогшее естество мечтало только об одном — согреться.

В зале ожидания горела печь. Из ее раскрытого зева струилось оранжевое тепло, вокруг которого сгрудились те, кто ожидал поезда. Я взял билет и тоже присоединился к озябшим пассажирам. Постепенно холод начал отпускать меня. Все вчерашние и сегодняшние беды отодвинулись в область неважного.

И неважно стало, что вот опять я тащусь с поломанным телевизором, что через час снова буду карабкаться на площадку казенного вагона и опять всю ночь без сна ворочаться на жесткой полке. Важен только настоящий миг, мгновенная его правота, острота сиюминутного, его близость.

Бесполезно. Об этом невозможно сказать...

Я лежу на боковой полке, упираюсь ногами в заднюю стенку и не то чтобы сплю, а пребываю в какой-то расслабляющей полудреме. Поезд покачивается. Перед закрытыми глазами бегут картинки-воспоминания: горячие летние дороги, ржаные поля с редкими вкраплениями васильков, лесные опушки, поля в ромашках и колокольчиках. И холмы, холмы, холмы...

И снова — батин дом, но из далекого далека. Тогда еще была жива его мать, моя бабушка. Бабушка Саша. И мне всего-то лет семь-восемь.

Я сижу на низеньком порожке в глубине сеней и гляжу на залитый солнцем двор. Там происходят разные события, которые из темной глубины кажутся необыкновенными и как будто удаленными от меня. А там всего-навсего бродят ленивые куры, петух тюкает клювом по щепочке, бабушка Саша рубит хряпу в деревянном корыте, кот крадетса мимо кур. Он проскальзывает в двери избы, но я тут же хватаю его за шкурку и выпихиваю обратно во двор:

— Куда побегал из телевизора?

Бабушка заглядывает в двери и видит (плохо видно — прищуривается) меня, сидящего в темной глубине. Вернее, она догадывается, что это я — по моей белой панамке, которая светится в темноте сеней. Я сижу на порожке, молча и неподвижно.

— Ну, чего в холоду сидишь? Шел бы на солнышко, погрелся.

— Я телевизор смотрю.

— Телевизор?

— Ага.

— Что в нем смотреть? Старуху старую?..

Тогда в деревне ни у кого не было телевизора. Правда, у нас в городе тоже телевизора не было, но зато телевизор был у Мишки Смолянова, в соседнем доме, и у Васильевых. Мама говорила: вот накопим денег и тоже купим себе телевизор. Но что-то деньги у нас плохо копились.

Зато у меня есть диаскоп, через который я смотрю диафильмы. Это почти то же самое, что и телевизор или кино. Только кадров там меньше и их нужно перематывать вручную...

Цветные кадры моих сонных видений путаются, вдруг появляется речка с лодкой-плоскодонкой. Какие-то рыбы блестят чешуей в синем пластмассовом ведерке. Снова появляется деревенский двор — соседская Альма гоняет кур по двору. Одна кура пытается взлететь на забор, но неудачно.

Потом из хлева выходит бабушка и прогоняет Альму. На экране остается только вытоптаный пятачок двора, серая стена сарая, грязный чугунок возле нее и штыковая лопата...

Кто-то, проходя в тамбур, громко хлопает дверью, и видения рассыпаются.

Я вымотан, мне хочется спать, но сон не идет ко мне. В невидимую щель окна дует, и мне приходится плотнее натягивать на голову вязаную шапочку. Текущая действительность течет сама по себе, не обращая на меня внимания. Она — действительность — не хороша и не плоха. Как поется в песне: «У природы нет плохой погоды».

Я лежу на верхней боковой полке у самого туалета — замечательное местечко! Бессонная ночь гарантирована. Самое время и место поразмышлять о смысле жизни, о превратностях бытия. Но мысли мои текут лениво, вяло — яркие картинки-воспоминания не возвращаются. Синяя лампа на потолке высвечивает багаж на верхних полках — коробки, пакеты. Высвечивает из полумрака чьи-то вытянутые ноги в черных носках...

Впрочем, все это уже пустое, лишнее. Все это — от неумения закругляться, от неумения засыпать в спартанских условиях общего вагона.

## ЛОДКА В СЕНТЯБРЕ

Наконец закончилось «дикое» садоводство, с его петлистыми улочками, угловатыми заборами и сарайчиками, сколоченными на скорую руку, и за прибрежными кустами открылась серая полоса Ладоги. В туманной сетке дождя на фарватере болталась одинокая лодчонка. Другие лодки находились у берега: которые — прикрученные цепями к железным кольям, которые — вытащенные на песок и аккуратно уложенные вверх дном.

— Гляди-ка, ловит кто-то на фарватере, — хмыкнул Паша. — Знает, что в такую погоду инспектор из дому не вылезет.

— Ну, сейчас и мы половим... Чисто символически... Отметим, так сказать, закрытие сезона, — Витек загонашился, замахал руками, скрипевшись, подмигнул Лехе.

Леха стоял насупленный и серьезный, хотя широкие суконные штаны, заправленные в маленькие полусапожки, и цветной зонт делали его похожим на клоуна. На обвислых усах его поблескивали брызги дождя. Леха был недоволен. Еще бы, — как рыбу ловить, так без него, а как лодку на берег вытаскивать: Леха, помоги.

— Это, что ли, ваша Ладога? — спросил он, как-то особенно напирая на слово «ваша». — Ну и где же тут ваша лодка?

— Сейчас, — сказал Паша и смело шагнул в разбитую сапогами грязь, по которой только и можно было выйти к воде.

Витек и Леха, вяло перебрасываясь словами, двинулись за ним.

Лодка на четверть была залита водой. Зеленая краска на ее бортах здорово облупилась, и видно было, что лодку красили не раз. Вокруг нее плавала коричневая камышовая крошка. Ребята подтащили лодку к сухому месту, поставили ее на борт, вылили воду. Витек, весь какой-то узкий — в узкой кепке, узком болоньевом плаще и узких болотных сапогах, — очень деловито, но бестолково разброеся перед лодкой тонкие березовые бревнышки, по которым предстояло выкатывать лодку. Леха хотел было поправить их, но потом передумал.

Паша тем временем застучал кувалдой, выколачивая из воды обрубок железной трубы, к которому была прицеплена лодка. В пелене дождя и тумана кувалда звучала отрывисто и глухо.

— Кольцо не отбей, — машинально сказал Леха, глядя на широкого приземистого Пашу, ловко орудующего кувалдой.

Паша ударил еще раз, и сварное кольцо на трубе неожиданно расколосось. Паша опустил кувалду и тихо выругался...

Потом все втроем расшатывали трубу и медленно вытягивали ее из илистой грязи. Потом курили.

— В прошлую субботу мы с Пашей здесь вот таких окушков натаскали, — говорил Витек, разводя нешироко свои тонкие ладони. — Одного судачка вот такого, и пяток ершей... Очень качественную уху сварили. И — под водочку! Очень даже... Паша, скажи.

— Да, — сказал Паша.

— Ерунда все это, — сказал Леха, снова разворачивая свой зонт. — Я вот в октябре в деревню поеду. За щукой... Шелупень — все ваши ерши.

— Урод ты тряпошный, — живо возразил Витек. — Знаешь, из ершей уха какая?! Паша, скажи!

— Да. С наваром, — сказал Паша.

Пока они курили, дождь немного поутих. Паша скинул свой мокрый армейский плащ и выбросил окурок. Это означало, что пора катить лодку.

В течение последующих десяти или пятнадцати минут они, то поругиваясь, то подначивая друг друга, тащили тяжелую лодку по грязи через кустарники. Приятели упирались ладонями в мокрые борта, протаскивали лодку на два-три метра вперед, перекладывали деревянные кругляши и снова толкали лодку. В самом конце пришлось преодолеть небольшой подъем; одно бревнышко не выдержало и переломилось — последние два метра лодку проволокли боком по мелким камням.

— Осторожно — борт! — рявкнул Паша.

Лодку перевернули вверх дном и Паша придиричиво ее оглядел. Но ничего страшного не случилось, только ободралась на борту и без того ободранная краска.

— На что бы ее поставить? — Паша замотал головой, выискивая поблизости что-нибудь подходящее.

Кругом лежали лодки, такие же облупленные, узкие, «ладожского» покроя.

— А вот, гляди, — Витек нырнул куда-то в кусты и вынес оттуда железную спинку от кровати. — По-моему, очень даже ничего. Подойдет?

Паша удовлетворительно хмыкнул и повертел спинку в руках.



— Вкапывать надо, а я лопату не взял. Пойду за лопатой, — сказал он. Паша бросил спинку и пошел к домикам.

— Ну, теперь жди его, — огорчился Витек. — Выпьет там всю нашу водку.

— Это он может, — сурово подтвердил Леха.

— Погода дрянная, — сказал Витек. — Ну, ничего. Сейчас с лодкой разделаемся, допьём водочку... Как тебе Пашины огурчики?

— Нормально.

— А помидорчики?!

Они постояли, помолчали. Затем Витек зачем-то попинал лодку ногой. Опять постояли. Наконец, пришел Паша с лопатой.

— И часу не прошло! — радостно изумился Витек.

Паша что-то пробурчал в ответ и начал ожесточенно вбивать лопату в грунт... Потом они сидели на перевернутой лодке и снова курили.

— Да, закончилась рыбалка, — мечтательно улыбаясь, произнес Витек.

— Да уж... — подтвердил Паша хмуро.

Леха ничего не сказал, а только повыше поднял воротник куртки. Он подумал о том, что сейчас они уйдут с этого мокрого берега, переоденутся в сухое, допьют водку, и она разойдется по телу приятным расслабляющим теплом.

Когда в мире холодно и промозгло, только и радости, как прислушаться к этому нутряному теплу, этому слабому неясному пламени. Как будто это — твой очаг, твой дом...

Сигарета кончилась. Ребята побросали окурки в мокрую траву и пошли прочь от озера. Одинокая лодка с рыбаком все еще качалась на фарватере, за туманной сетью дождя...

Через два года Паши не стало. Домик в диком садоводстве сгорел, а вместе с ним сгорел и Паша. Обгорелый Пашин труп с неестественно вывернутой рукой едва поместился в гроб.

Витек и Леха стояли перед наглухо заколоченным гробом, и им нечего было сказать. Пашина жена в черной накидке, изредка вытирала глаза платком, а Пашина мать уже и не плакала — все слезы были выплаканы.

На кладбище было сыро и пасмурно. Стоял конец сентября — листья на деревьях понемногу меняли свой цвет с зеленого на желтый, но и те, и эти в такую мутную хмарь выглядели беспросветно серыми.

Так же серо было и на душе у Лехи. Не удалось ему порыбачить с Пашей. И кому она теперь достанется, лодка-то? Татьяна продаст, наверное — на что она ей. А Паше лодка больше не нужна. Вот она — последняя его лодка.

Леха вытащил сигареты, закурил, предложил Витьку. Тот отмахнулся:

— А ну его, твой крепкие слишком.

Постояли, покурили. Двое мужиков, работники кладбища, стоя в сырой яме, молча подбивали лопатами изнутри стенки могилы, чтобы сподручнее было опускать гроб. Затем, широко расставив ноги, на двух грязных веревках они опустили Пашу в глубокую прямоугольную яму. Потом все по очереди бросили туда по горсти земли.

Перед тем как начали засыпать могилу, Леха успел заметить, что гроб похож сверху на перевернутую лодку. Но это сравнение не успело обрес-

ти в его голове какие-то вмятные очертания — всех позвали помянуть покойного.

Водка пошла впустую. Как вода. Прокатилась без всякого удовольствия. Еще что-то печальное и трогательное говорили родственники, кто-то раздавал маленькие бутербродики с красной рыбой, кто-то порывался вызвать такси...

Водка кончилась. Начал моросить мелкий дождь. Ребята поставили пустые стопки на покрытую клеенкой доску и, коротко распрощавшись с родственниками, пошли прочь с кладбища.

— Да, закончилась рыбалка, — печально произнес Витек.

— Да уж... — подтвердил Леха хмуро.

Редкие желтые листья падали с берез прямо им под ноги.

А где-то, за туманной сеткой дождя, может, почти рядом, а может, наоборот — немыслимо далеко, забытая лодка с одиноким рыбаком все еще качалась на фарватере, на краю Ладоги, а может, и на краю Земли, и кто-то, почти невидимый, все глядел с надеждой на поплавок, дожидаясь поклевки.

